

Катя

Деструкция

2000, 2001 и 2002 годы

Сережа пропал, когда я еще могла кричать.

И кричала — безмолвно, безгласно. Бесполезно. Тогда я начала молчать, замалчивать, прятать себя в тишину квартиры, комнаты, кровати. Стояла посреди прошлого, сжимала в пальцах немое горе. Но разве это могло кого-то спасти?

Мы с родителями ездили его искать, а как вернулись передохнуть, наполниться надеждой, я перестала выходить из квартиры, отставила-оставила УрГУ, филфак и с ними — словоформы. Поняла ценность пустоты; в ушах как раз кончился звук.

Он закончился внезапно, как будто рядом взорвалась бомба и все отрубилось, растаяло, ушло в землю, в корни деревьев, корни людей. Люди стали отступать, да и как не отступать от девушки с тишиной в рукаве, ведь все, чего боялось человечество, было у меня, у нее, у нас обеих; лишь руку протяни.

Пустота кутала силой, обдавала теплом, уравновешивала отзвук сердца, болела, но не подтачивала меня изнутри. Не нужны: физическая тишина, вакуум,

одинокчество. Не нужно оставаться в комнате, баррикадировать двери и окна, отрывать себе уши, аккуратно разрезать их по краю, сберегая хрусткие хрящи.

Через месяцы непокая пустота стала спутником, оберегом, коконом; она стала настоящим моим домом.

В университете меня терпели, не вызывали, сначала понимающе кивали, но все больше перешептывались за спиной, советовали взять «академ». Я решила уйти насовсем, а люди вокруг и снаружи безучастно молчали, отворачивались, удалялись, качали головами и жалели меня, нищенку без половины тела, без части семьи. Подумай, Катя, соберись: легко притормозить и очень тяжело вернуться.

— Теперь и ты туда же, мало нам одной беды, да пришла откуда не ждали. И что дальше, в продащицы пойдешь, в дворники, на завод? — родители на время остановились, замедлились. Они устали; отыгрывались на мне.

— В дворничихи, да, Катерина? — поправлял маму папа. — Ты сама головой думаешь, как кормить себя будешь, как содержать? Мы же не вечные, я всю жизнь трудился, чтобы вы учились, ты, Катерина, училась в институте. Чтобы человеком стала!

Но возвращаться, становиться человеком я не собиралась. Забрала документы.

И все закончилось, отпало, больше мне не помнилось семестров литературного праха; и ее, вины, внешне тоже не стало. Вина больше не пахла пивом, перекурами на этаже, в туалетах и на тургеневском крыльце; не стиралась прогулами с пятикурсниками

или взрослыми парнями. Я искала в них то, что найти, конечно, не могла. Вина перестала иметь запах, укусный привкус возбуждения, а потому печали. Вина ушла внутрь.

Мне развязали руки; выпустили на волю.

— И как тебе не страшно у черта на куличках: маньяки изнасилуют, убьют или отправят в секс-рабство, у вас там сплошная балабановщина, только вид из окна, не кино, — Женя, подруга, пугала на все лады.

Небо дождало на рассвете, затягивалось на закате. Весна догоняла, горная грязь смешивалась, бурлила пеной на асфальте. Я уходила вслед за громоздкой тишиной улиц, трамвайным молчанием, гулом дворов, отчаянием обшарпанных домов. Лужи не сохли, распадались, но выживали — поучиться бы у них; в грязь дорог падали и падали невидимые слезы; и я слышала, как где-то рядом, в вечности, бродит Рыжий, наш поэт.

«Если в прошлое, лучше трамваем...»

Я ходила пешком.

Всматривалась в лица людей, а от меня шарахались, ведь кто же ходит по Вторчику, задрав голову вверх. Некто без страха и инстинкта самосохранения. Неместных здесь в сумерках могли отметить, обокрасть, пырнуть ножом, закинуть за помойку, за гаражи; искать потом их матерям.

Но не меня, человека с меткой тишины.

Днем я ходила по району застывших во времени пятиэтажек; они родились уже со струпьями на теле, с подвальной гнилью и жилищем-крышей для помойных птиц. Блуждала по району отсыревших дворов, что делят дети и алкаши, в местах бессмертного

странствия монохрома, сепии, в которой потеряны все остальные цвета.

Думала, читала про себя стихи, одну и ту же строчку. Потом уходила в центр, тянуло к ленинской аллее и Литературному кварталу, к пятачку за Оперным, где сидел весь институт. Я шла и не падала, пока не заболят ноги, не загудят конечности.

Иногда доходила до «жэбайки» — Жениного района; там, ссутулившись на качелях, мы пили отраву в ярких банках, делились мелочными мыслями, всем тем, для чего нужны приятели. Когда-то познакомились на подготовительных курсах в универе, но она не прошла по баллам и поступила в сельскохозяйственный. Теперь принимала меня в своих кварталах, а Вторчермет не любила, словно была глобальная разница в судьбах людей. Я же принимала ее закосы под плохую девчонку, ее эгоизм, ее черствость; никакой жалости, сочувствия в ней и не существовало, она делала усилие, спрашивая про мои дела.

И этим все больше нравилась.

В этот раз Женя угощала джин-тоником, и мы дули его, раскачиваясь лениво и медленно, задерживая внутри тепло спиртовых паров.

— Дерьмовая погода. — Грязь под ее ботинками превратилась в гречневую кашу, и она все перемешивала ее, перемешивала, до готовности. Пригорит. Я отвернулась, прикончила банку; податливая жестянка смялась без усилий.

— Скучаешь по инстику?

— Нет.

Забудь. Уже отброшен этот мертвый звук и альма-матер слёз.

Когда я поступила в уральский Гарвард на платное, то все шутила, что ukrала судьбу Сережи так же, как Фолкнер забрал у своего Бенджи семейный луг, продал его в оплату института. Брат фыркал: забудь свои фантазии, ведь тот герой, Бенджи, — совсем безумный, ненормальный, псих; оставь уже, отстань, не надо, никто не виноват, я же другой. Да брось, Сереж, родители боялись, что я так не поступлю; ведь ты «наш юный гений», а я девочка, никто.

— Да лан тебе. Скучно же так. Я вот иногда думаю, тип, бросить все. А потом чё, ерундой страдать? Куда работать? Замуж выйти, дак телом не вышла, чтобы пацики бегали. Моя типа подруга Маринка при баблишке, работает недалеко в стриптизе, дома только красится и телик смотрит, а я не могу, чё-та в голове, видимо, еще осталось. На квартиру копит, вещи покупает. Знаешь, чё еще там делает?

Женя легко засмеялась, а во мне засвербело. Наверное, коктейль, наверное, контрасты.

— Отдается за деньги, как интердевочка. Ну, помнишь фильм?

— Я не смотрела.

— Да как так, фильм детства, — она вздохнула, а потом ухмыльнулась, зубы у нее слегка пожелтели от крепкого чая с пятью ложками сахара. — Какая, грит, разница, давать утырку из подъезда, или бедному прыщавому однокурснику, или тут мужикам при деньгах, всего-то пузо потерпеть да перегар.

— А давно вы знакомы?

— С Маринкой-та? С детства, она ко мне привыкла, раньше мы обе не пришей кобыле хвост ходили, она нестрашная и тупая, я толстая, но поумнее,

а сейчас видишь, как вышло... Сейчас вот Мариша, Маришка. Зовет все в клуб развеяться, типа накрашу, грит, приодену, ха-ха, прираздену, потусишь, папика найдем, а то чё как лошара, мало ли любителей, а мне чё-т стремно пока.

Женя погрустнела, закачалась сильнее. Скрип качелей убаюкивал, голова откинулась назад, я смотрела на белесое небо; желала лишь улететь.

И тогда все равно я продолжала подначивать брата, вредить, но за месяцы и годы часть луга подвыщела, подрастеряла былую остроту, а очарование рассеялось; теперь Сережа-Бенджи не скачет по траве; его здесь вообще нет.

— Ну а так, типа, подумать, что мне этот институт? Куда дальше? Что делать? Зарплаты видела? На еду и прокладки, за газ, свет, чё там еще есть, заплатить, погулять раз-два в месяц, а если жить негде, снимать еще. Ни отложить, ни в отпуск сгонять, ни в «Мак Пик» сходить. Ай забей. Тошно-тошно-тошно. Бли-и-ин.

— Ну.

— Хорошо забрало. Будешь еще одну пополам? На.

И через минуту:

— Мы тут кочевряжимся, осуждаем. А мож того, потом окажется, что эт Маринка нас всех умней?

Я откинулась еще дальше, так, что, если еще немного, разломится позвоночник, стукнется с той стороны голова и покатится, свободная, вниз.

— Будет прикол.

Нам слишком тоскливо здесь жить.

Женя и притащила нас в киноклуб «Посторонним В», прохрипев что-то про рутину и совет парня,

который не вылезает из «Люка», адеграундного клуба с фейс- и даже культурным контролем.

— Там показывают артхаус, ну типа странные такие фильмы, да и вообще сходим проветримся.

— Только ко мне не приставать, не понравится — уйду.

— Без бэ, без бэ, — подняла руки Женя.

Популярное место: дом писателя, двухэтажное эклектичное здание с массивной дверью, полуциркульными арками на окнах; расслабленная публика, шлейф интеллектуального безумия.

— Ну что, уходишь? — засмеялась. — Остаешься? То-то же.

Когда загорелся экран, Женя раскрыла сумку — две блестящие банки.

— А кино?

— Кино это смотреть не мешает. Даже помогает.

— Сигарет, жаль, нет.

— Наплела мамке про распечатки, всякие сборы на учебу. Деньгами разжилась.

— Сигарет бы найти, — шепнула я и, пока Женя прихлебнула джин, вышла из зала, потом на крыльцо, вот так, как была в тонкой кофте.

Старушка на входе-выходе крикнула:

— Околеешь ведь, чай не лето.

Желание курить сильнее любой простуды.

— Травимся, значит, — я уже хорошенько захмелела и не выдержала, рассмеялась. Двое худощавых парней дернулись, обернулись, угостили. Вот не доброе слово, а сигарету — убивающее зелье — всегда найдешь. — Спасибо.

Во рту горчило, руки пропахли какой-то жженой резиной, а эти люди что-то говорили, так что я поскорее сбежала. Когда вернулась на место, Женя продолжила, будто все время во рту держала и напиток, и слова; не подавилась бы.

— Учеба для нее святое. Она, наверно, на мое здоровье бы не так охотно деньги давала, как на что-то для вуза. Вуз же, блин. Самое важное. Вот он мой вуз, и у тебя в руках тоже. Плещется.

Зашикали сбоку и сзади. Женя как-то грустно умолкла, еще больше сгорбилась, допила и тихо засунула банку под сиденье, привалилась к моему плечу. Она смотрела вперед, но не на черно-белый фильм, а на модно и расслабленно одетую девушку, сидящую наискосок на два ряда впереди.

— Денег хочется, понимаешь, — пьяно, совсем душевно зашептала она, — побогаче жить, чтоб пейджер, да чё там, кофточку, джинсы, сумку купить и не на Таганчике на картонке мерить, а в магазине и чтобы бренд, и на цену не смотреть. А маме скажешь: хочу, а она — дак у тебя же есть, уже есть одна, еще нормальная, вот и носи. И так дурачки: идет показывать мне мою же вещь, как кошку в молоко носом, «смотри, сука, смотри!» разве что не говорит. А ничё, что кофточке лет пять, немодно и видно это, так стремно. Ей не понять, что хочется красивое!

— А зачем?

Она отшатнулась, как будто ударили, села ровно.

— Ага, ничё ты не поняла, тебе с фигурой повезло, что угодно надеть — будет хорошо. Все, забей, проехали.

Ее руки упали на колени, на пол. Но сломалась я. Давно уже. А может, сразу сломанная и родилась. Ни денег, ни вещей, ничего мне не хотелось и даже захотеться не могло.

И как-то так сдружились.

Я набрала печатных друзей-философов и вот ее, подсевшую на жестяные банки, химозные коктейли, девчонку. Прилизанное, приличное общество вдруг не стало прочным и логичным выбором; у близкого девичьего круга оказалась своя жизнь, которая теперь мне не давалась. Я в основном молчала, берегла клетки, а Жене можно было почти не отвечать, она одна напрочь заполняла пространство собой; и ерундой.

Тогда дом опустел еще раз, я научилась управлять тишиной, стала уносить-выносить ее с собой, проветрить, погулять.

— Ох, как хорошо сидеть на нашей с мамой шее. Шляться, курить-закуриться, чего-то там философствовать, искать смысл, или что ты там ищешь, ладно хоть читать не разучилась, пока тебя кормят, поят, одевают, пока спишь в своей отдельной комнате. Куда опять, Катерина?

Они еще не осознали, что теперь я их единственный ребенок, опора, сцепка для семьи.

Пока визжал студеный мартовский ветер, я и Женья раз в неделю навещались в киноклуб, выпить под авторское кино, но ближе к лету все больше гуляли, выбирая скамейки поуютнее, поуक्रमнее. Говорили мало, слушали музыку, она раз за разом рассказывала

про Марину, истории из дома и с учебы, я читала стихи — странная мы парочка, — пока подруга не попросила притормозить:

— Кать, не обижайся, завали, а у меня и в инстике хватает чтения. Такая тухлятина. Лучше выпьем, деньги есть?

Оказывается, она тоже что-то читает.

— Голяк, а у тебя? Я не беру у родителей.

— Блин.

— Хочешь выверну карманы?

— Да чё ты начинаешь. Ох-х, все скука такая. Общаться не с кем: ты, Маринка и сестра двоюродная, да и та редко приезжает.

— А хобби? На танцы, на кружок какой-нибудь, что-то же есть в универе. Ну что-то новое.

— Деньги нужны, да и форма не клевая, не, в обтяге мне стеснительно, будут смотреть, типа корова пришла. Надо сначала похудеть, а потом идти.

Не с таким количеством алкоголя. Но кто бы говорил — сама я ела мало и могла сосчитать кости на бедрах.

Женя вздохнула и долго смотрела на воду — мы сидели на корнях ветвей в дендропарке, приминали собой землю и зелень.

— А вообще я с парнями гулять хочу, влюбиться, попробовать, ну, эт. Я, блин, даже не целовалась ни разу.

— В кого?

— Да уж в кого-нибудь, — разозлилась Женя. — Мужского пола, как будт много вариантов. А то как старушка. Тебе разве не хочется пососаться, пообниматься, повеселиться... ты же раньше с тусовок

не вылезала, а потом, ну я понимаю, но все равно, черт, голубь прям на банку насрал, ты это видела, видела? Черт.

Ха-ха, карающие крылья, голубиный бог.

И продолжалось лето, время длилось-длилось: беседы о скуке, о внешности, под алкоголем, бродя по улице, стоя в подъезде, в киноклубе — ведь денег нет, ты только дай запить тоску.

— Там какой-то странный парень на тебя смотрит, у двери, — толкнула в бок Женя.

Я оборачиваться не хотела, но она все толкала и толкала. Обычный, непримечательный, просто одетый, в какие-то штаны и свитер в клетку; сигарет у такого явно не было.

— Ой не, такие парни-клетки в основном тихо работают инженерами на заднем ряду жизни и женятся на тех, до кого смогут дотянуться, — шептала Женя, набравшись от успешной Маришки.

Инженер на заднем ряду жизни. Обычно с такими можно построить крепкую тихую семью, но осторожно, может затянуть; если бы ее еще кому-то хотелось.

— Не знаешь? Да забей, давай выйду с тобой покурить.

— Я тут эта, — замялась уже на крыльце Женя, — с Маринкой договорилась в баню или, чё там, сауну поехать.

— С мужиками?

— Да ну чё ты, — смутилась она. — Посидим, ничего такого, я просто за компанию, заставлять не будут. Ты меня сразу записала... Я пообщаться, может,

хочу, встретить кого. Не все же с утырками встречаться, в «Эльдорадо» на дискачи гонять.

— В сауне?

— Да какая, блин, разница где! Я уже от этой хандры бадяжной помереть хочу.

— Ну.

— Чё ну да ну. Морду попроще. Вот веришь, нет, жить не хочется, чтобы так, как мама — дети, посуда эта сучья, вечно грязная, пол, стирка и глажка, работа и работа. Мамка-то моя, прикинь, думает, все хорошо, считает, что состоялась в жизни, ну да, эколог, важная такая профессия, важная, ага, перспективная, за копейки, дети, тип, пристроены, мелкий еще в восьмом, я говорила. А я на нее смотрю и думаю — что это за чужая уродливая тетка меня родила?

Она отвела взгляд. Самой было стыдно, но перебороть не могла?

— И чтобы так лямку дальше тянуть, ну не-е-е. И такое унынье, чернота, вот прям отсюда, из сердца, хочется бежать куда глаза глядят. Вот кем угодно быть, чтобы только не это.

— Сколько ты банок выпила?

— Да задрала, нормально все. Сладенькое, легкое, фигня. В тоске, короч, выхожу во двор, тебя вспоминаю, что взяла и порвала со всем. Ушла в никуда. Взяла девка и решилась.

И скоро будет жить под забором.

— Дело твое, — я затушила сигарету, и мы пошли назад, — будь осторожна и, блин, много не пей. Тебя вставляет быстро.

— Дело мое, да, да, только мое, понятно! Не лечи меня, а, святоша.

А кто говорил про маньяков? Те, что внутри, теперь не страшны?

Я отдала ей недопитую банку. Женя отвернулась. Кино смотрели молча, она гордо хлебала из жестянки, мне снова мучительно хотелось курить и курить — закуриться бы досиня, — и где-то сзади на лопатки глядел и глядел парень Клетка.

Всю осень мы с ней пересекались мало, я ходила в библиотеку за новыми мыслями, заталкивала их в себя, чтобы забыться, Женя разгоняла бедность. Права, она, права, тоска, хоть вешайся, но тоска фантазий лучше остроты реальности. Сережку еще ищут или нет? Поехать бы самой куда глаза глядят, но маму жалко.

— Погоним на новогоднюю вечеринку? — бодро объявилась Женька. — Ребята из моего вуза собираются в общежитии, я сказала про тебя, гряд, давайте вместе.

Там будут вопросы: где учишься, как живешь, что ты, кто ты; а хуже — если нет.

— Давай.

— Попробуй хотя б повеселиться, а? Ну, Катък.

Новые растянутые нотки.

— Увидимся.

Женя приволокла пару бутылок коньяка и сок, я закусу — просто мамин салат и блины, что за привычка готовить, если никто почти не ест. Пусть едят вечно голодные, а значит, живые.

Мальчики пили водку и пиво из кружек и стаканов, девочки замешивали коктейли в грубых бокалах,

кем-то принесенных из дома. Шумели разрешенной частичкой этажа. Я впервые с *того самого* оказалась в компании людей; подкрасила черным глаза, ходила по открытым комнаткам, привлекала внимание и под «о, познакомимся, садись сюда» говорила с подгруппами Жени и, возможно, с ее бывшими минутными увлечениями; гудела здесь вся параллель.

Кто-то голодный чавкал и мычал, поглощал мамин салат так, что горошек летел на пол. Какой-то парень и чрезмерно надушенная девушка целовались на кровати за моей спиной, я бы тронула их, протянув руку. Надо же, поразительное умение чего-то, кого-то хотеть отстраняться — будто они лежали одни в темноте и за закрытой дверью; пока мир вокруг только и делал, что кружился, люди повально дышали и пили, и весь воздух превратился в упругий жар.

Кричали в потолок, всем и никому, как тут уловишь смысл. Четырехсторонняя атака, давление; лишь успевай закрывать голову.

— Что такое человек? — справа, парни на полу.

— Как открыть вино? — слева.

Сзади любители влажных касаний, спереди на кровати Женя в девчоночьем кругу. Хорошая общажная вписка; собираются люди, о чем-то говорят — лови настроение, лавируй словами, включайся, включай. И можно раствориться. Как будто больше не одна.

— Ну кто, кто же такой «человек» по-твоему? Не все так просто, тысячи лет бьемся, начиная с Платона, а ты...

— Да ладно, я родился, и все, я уже человек. Нет никакой комиссии. Если я хомосапиенс, значит, у эволюции все получилось, называйте меня человеком.

Правда в том, что человек — говно. Примешь — проще будет жить. И тогда, чтобы не обесценить это понятие, можно говорить о ситуативном человеческом поведении. Оно может быть у любого.

— Кроме тебя. Хер там плавал. Не переворачивай все вверх дном. Видали.

— Бутылку? Мальчики, у кого штопор есть?

— А что видали? Давай так, вот бомж — это человек? В биологическом отношении — да. Но уважаешь ли ты его за поступки, равняешься ли? Нет. Ты и не думаешь о других, сидишь, сосешь пивас, сосешь Наську, тебе хорошо. В институте учишься, телики чинишь. И ты человек? Но на деле ты не лучше бомжа. И не хуже. Хотя, может, и хуже, если смотришь сверху вниз.

— Разбить о голову кому-то вино? Сколько я с ним ходить буду, а выпить-то хочется.

— А у бомжей, стало быть, нет зависти, нет чувств.

— Попробуй пальцем вдавить вниз.

— Многое на выживание тратится, чистая физиология, чистый ресурс.

— Ну, может, у них, эта, свои бомжовские мерки. Не знаю, например, у кого коробка красивее, место на теплотрассе потеплее, хлеба побольше, — хрюкнула Наська и засмеялась.

— Вот. Настю мы уже потеряли. Сочувствую.

— У кого есть чистый палец?

— Так-так, давай назад. Каждый человек — и человек, и нет, ты хочешь сказать?

— Я, блин, уже не знаю, что происходит, пробка застряла и дальше никак. Может, саблей?

— Гранатой, аха-ха.

— Ну, обезьяна не человек, но человек может быть обезьяной.

— Короче, я просто расковыряю ножом это пойло.

— А полтела — это человек? Полмозга — человек? В животе эмбрион или человек? Убийца — человек?

— Да подожди ты.

— Пойду поссу.

— Спросим у соседей. Дай сюда бутылку.

— Ха!

Меня задели какой-то потной частью тела, я отпрянула, поднялась.

Есть ли разница, где философствовать: на грязной кухне и четвертинке комнаты в общежитии или в дороге, направляясь напрямиком в другую, просолено-морскую, жизнь? Есть ли разница, что видеть вокруг, если внутри непроглядная темнота? Как он там, наш третий, Ромка?

— Катка, ты куда? Не теряйся давай.

Нам всем, особенно Жене, ответит Маришка, девушка с грязным домом и чистой душой. А я поизучаю окрестности, спертый дух на этаже, полуподвальную темень, плесень на плинтусах, обломки штукатурки. Пиво, осколки, бутылки, бычки и заплатки на совесть.

Хочу покурить.

А в дальнем конце этажа: звуки, трели инструментов, вой под гитару. Одиночество и голод. Не пробудившиеся пока Маришки. А нет, они в другом крыле, там мне не место.

Шагала дальше медленно, держалась за шершавость стен. Остановись, момент реальности, не переходи в затяжное безумие. Кадр шатается, один, два — стоп.

Встала рядом с туалетом, ощупала карманы — вечно я на сигаретной мели. Сползла по стене на корточки; отчаяние прибывало все ниже, хоть ложись.

— Эй, ты в порядке? — некто ухватил за подбородок и легко поднял до уровня своего лица. Глаза зеленые, большие, на загорелом лице, а больше ничего.

Не надо было на голодный желудок вливать в себя «Кровавую Мэри».

— Есть курить?

— Давай угощу... Затягивайся и поддержи, не выдыхай.

— Что это? — поперхнулась я, закашлялась; с непривычки горчит.

Он только засмеялся, назвался Сеней — а друзья звали Сеном — и протянул мне самокрутку табака: попробуй снова, вдохни, вдохни.

Так вот где пряталось спасение.

Он жил в другой общаге, там в комнате стояли двухэтажные кровати, столы и табуретки. И я стала там оставаться на ночь, вмещаясь с ним на полуметре второго яруса; бедный наш сосед.

Сеня, кудрявый, веселый, смуглый и очень красивый, витал не в облаках, а где-то выше, в иных сферах, и эти полукружия придавливали его веки, так что глаза открывались лишь наполовину.

На учебу он не ходил, но как-то числился на пятом курсе, писал диплом. Недешевые свои вещи сваливал на пол, в угол. Потом туда же отправлял и меня. Играл на гитаре, мы курили в потолок, а потом вставляли, чтобы покурить еще раз. Он рассказывал о море, о возникновении Марианской — и марсианской — впадины,

о космических кораблях, о том, как в детстве его похитили инопланетяне, отвезли в рай, а потом вернули. Как выглядит рай, он не помнит, но умеет чувствовать — где-то там есть лучшая жизнь, а эта — лишь грязный, вонючий презервативный тоннель, воняющий кровью и потом.

В моменты предельного единения с раем или энергией солнца он раздевал меня и трогал; начинал играть на своем инструменте, петь что-то нечленораздельное, танцевать голым — бедный скромный наш сосед; нижняя часть тряслась под гитарой, приминалась, взбалтывалась, вверх-вниз. Я хохотала так, что, казалось, забыла о существовании ада.

Ему нужен был слушатель фантазий. Мне — паяц без предассудков. И какое же это оказалось удовольствие.

— Взорвется что-то типа Кракатау, или еще хуже — Йеллоустоун, и всем каюк. А я чё, брал от жизни все, малышка. Брал, беру, иди сюда.

Он планировал покорение космоса по фильму «Космическая одиссея 2001 года», любил свободных людей и ненавидел общество, странным образом соединял в голове невероятное количество фактов. То хотел жить настоящим, то считал будущее основной своей целью. Делился, как полетит на корабле в неизвестность и тогда его глаза будут плакать истинным светом. Впрочем, так заканчивался его любимый фильм.

Естественно, Сенины родители были богаты, а его самого ждала квартира у Плотинки, недалеко от Дома Севастьянова, и должность в фирме отца. Но пока он мог разбрасываться словами, жить в коробке, в круге,

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru